

НА ГРАНИЦАХ ТЕКСТА И ЛИТЕРАТУРНОГО КУЛЬТА

© 2020 г. Ж. Калавски, А.П. Уракова

*Институт литературоведения,
Исследовательский центр гуманитарных наук
(Венгерская академия наук), Будапешт, Венгрия;
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького Российской академии наук,
Москва, Россия*

Дата поступления статьи: 29 апреля 2020 г.

Дата публикации: 25 декабря 2020 г.

DOI: <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-4-66-87>

Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 18-512-23002 (2018–2021)

Аннотация: В статье рассматривается феномен литературного культа и культового текста.

Развивая теоретические идеи С.Н. Зенкина и П. Давидхази, авторы предлагают поговорить о границах текста и культа на примере двух сюжетов. Роман Харриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852), оказавший огромное влияние на литературную и политическую жизнь США, был прочитан современным американским критиком Д.С. Рейнольдсом в неожиданном контексте. Героиня романа Элиза, беглая рабыня, пересекла границу между Кентукки и Огайо, прыгая с льдины на льдину; то же самое сделал отец Октябрьской революции Ульянов-Ленин, тайно сбежав из Финляндии по треснувшему льду. В этой случайной встрече Запада и Востока, вымысла и реальности, зафиксированной в критике, авторы предлагают увидеть не совпадение, анекдот или курьез, но пример культового отношения к тексту. «Хижина дяди Тома» становится романом, из-за которого состоялась не только война между Севером и Югом, но и Октябрьская революция. Что происходит, когда наследник престола Австро-Венгрии, убитый в 1914 г., перед покушением в Сараево читает произведения основателя русской литературы, поэта, который сам был убит в поединке? Рассказ Милорада Павича «Принц Фердинанд читает Пушкина» выявляет сходства и различия, случайности и закономерности, касающиеся двух событий — смерти поэта и смерти Франца Фердинанда, — истории которых можно описать как изоморфные сюжеты.

Ключевые слова: литературный культ, культовый текст, «Хижина дяди Тома», Х. Бичер-Стоу, В.И. Ульянов-Ленин, М. Павич, А.С. Пушкин, принц Фердинанд.

Информация об авторах:

Жбфия Калавски — PhD, научный сотрудник, Институт литературоведения, Исследовательский центр гуманитарных наук (Венгерская академия наук), ул. Менеш, 11–13, 1118 г. Будапешт, Венгрия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1276-3243>. **E-mail:** kalavszky.zsofia@btk.mta.hu

Александра Павловна Уракова — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2432-2840>. **E-mail:** alexandraurakova@yandex.ru

Для цитирования: Калавски Ж., Уракова А.П. На границах текста и литературного культа // Studia Litterarum. 2020. Т. 5, № 4. С. 66–87. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-4-66-87>



EXPLORING THE BOUNDARIES OF TEXTS AND LITERARY CULTS

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

© 2020. Zs. Kalavszky, A.P. Urakova

Institute for Literary Studies (MTA Centre for Excellence), Research Centre for the Humanities, Budapest, Hungary; A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Received: April 29, 2020

Date of publication: December 25, 2020

Acknowledgements: This article was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant no 18-512-23002 (2018–2021).

Abstract: The essay focuses on the interrelated phenomena of literary cult and cultic text. Bearing on the conceptual ideas of Sergey Zenkin and Péter Dávidházi, we problematize the boundaries between text and cults on the example of two case studies. One has to do with a recent interpretation of *Uncle Tom's Cabin*, a nineteenth-century bestseller novel that had a great impact on literary and political life of the United States in the antebellum period. David S. Reynolds argues that Ulyanov-Lenin's escape from the Finnish mainland by breaking his way on the broken ice of the river to an island might have been inspired by *Uncle Tom's Cabin* where a fugitive slave Eliza does exactly the same thing. This essay suggests seeing this random encounter of the East and the West, the fictional and the "real" not as a curious anecdote or coincidence but as a mechanism of inventing a cultic text. What happens when one of the prominent figures of the European historical narrative, the crown prince assassinated in 1914, reads the works of the Russian poet before the fatal day in Sarajevo? Milorad Pavić building his short story *Prince Ferdinand Reads Pushkin* upon recognizable allusions to Pushkin's texts, highlights similarities and differences, the fatal and the accidental in the stories of the poet shot in the duel and the Austrian crown prince being a victim of an assassination – two intersective storylines that may be described as "isomorphic plots."

Keywords: literary cult, cultic text, *Uncle Tom's Cabin*, Harriet Beecher Stowe, Vladimir Ulyanov-Lenin, Milorad Pavić, Alexander Pushkin, Prince Ferdinand

Information about the authors:

Zsófia Kalavszky, PhD in Philology, Researcher, Institute for Literary Studies (MTA Centre for Excellence), Research Centre for the Humanities, Ménesi út, 11-13, 1118 Budapest, Hungary. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1276-3243>

E-mail: kalavszky.zsofia@btk.mta.hu

Alexandra P. Urakova, PhD in Philology, Senior Researcher, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2432-2840>

E-mail: alexandraurakova@yandex.ru

For citation: Kalavszky Zs., Urakova A.P. Exploring the Boundaries of Texts and Literary Cults. *Studia Litterarum*, 2020, vol. 5, no 4, pp. 66–87. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-4-66-87>

Феномен литературного культа стал предметом исследовательского интереса в работах венгерских, финских и российских ученых последних нескольких десятилетий¹. Литературный культ — социокультурный феномен современной эпохи (modernity), который проявляется в сакрализации авторской фигуры читательским сообществом, придании ей особой ценности или сверхценности, извлечении этой фигуры из канона и наделении ее новым смыслом. Особое внимание уделяется вопросу иноязычного или инокультурного культа (например, романтический культ Шекспира), когда почитание автора возникает как альтернатива канону, в своем современном значении связанному с идеей нации и национального. Вместе с тем проблема *культового текста* остается по-прежнему сравнительно малоизученной. Единственное известное нам теоретическое исследование на данную тему — глава «От текста к культу» С.Н. Зенкина в коллективной монографии, изданной в 2011 г., «Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель» [4]. Ниже мы предлагаем два историко-литературных сюжета, объединенных общим теоретическим посылом, которые отчасти продолжают, отчасти переносят в другую плоскость концептуальные идеи Зенкина. Как мы постараемся показать, именно на границах текста и культовых практик возникает неожиданное сближение «далековатых» идей и остранение привычных смыслов. В самом деле, как связаны друг с другом В.И. Ульянов-Ленин и «Хижина дяди Тома», престолонаследник австро-венгерской монархии Франц Фердинанд и «Евгений Онегин»? Мы покажем, что культ делает возможным случайное пересечение исторических и

¹ Библиографию существующих исследований и анализ различных подходов см. в нашей статье: [17].

литературных персонажей, которые едва ли встретились бы в пространстве одного и того же критического или художественного текста.

Объектами культового поклонения могут быть не только авторские имена, но и отдельные книги. Так, можно говорить о романтическом культе «Дон Кихота» — именно «Дон Кихота», а не Сервантеса (или Сервантеса как автора «Дон Кихота»). Вместе с тем методология изучения культового писателя — того же Шекспира — и культовой книги или текста будет различной. В частности, Зенкин предлагает различать социологический и филологический подходы: «Понятие культовой литературы связано с социологией культуры, и естественно мыслить его с помощью социологических категорий; однако здесь будет применяться главным образом филологический подход — иными словами, литература будет мыслиться не столько как совокупность авторов, сколько как совокупность текстов, произведений. Каким образом литература производит культовые *тексты* и что она с ними делает, что нужно делать с текстом, чтобы он был культовым?» [4, с. 133] Используя предложенное русскими формалистами (в первую очередь Ю.Н. Тыняновым) понятие литературного быта, Зенкин предлагает рассматривать культовый текст в контексте вторичной фольклоризации. В таком случае маркерами «культовости» текста будут написанные вслед за ним сиквелы или приквелы — возникает момент эрзац-творчества; вымышленный мир произведения генерирует новые тексты-воплощения, которые необязательно обладают выдающимися литературными достоинствами, но активно участвуют в поддержании культового статуса оригинального текста. Или же текст становится культовым, когда читатели начинают проецировать вымышленную реальность на быт собственной жизни. В таком случае происходит «нарушение границ между вымыслом и реальностью»: «содержание внутреннего мира произведения как бы перехлестывает границы текста и прорывается в реальную действительность». Вмешательство текста в жизнь может происходить, например, когда произведение оказывает «прямое социальное действие своими идеями» («Парижские тайны» Эжена Сю или «Что делать?» Чернышевского) или же когда возникает волна подражаний моде, поведению и судьбе литературного героя. Классический пример последнего — «Страдания юного Вертера» Гёте. «Как известно, у этого романа быстро образовалось множество поклонников, которые выражали свое поклонение в разных формах: кто в ношении синего фрака

и желтого жилета, а кто и в таких крайних формах, как самоубийство в подражание самоубийству Вертера» [4, с. 136]. Иными словами, текст начинает выполнять перформативную функцию, т. е. оказывать прямое, непосредственное воздействие на реальность.

Говоря о культовом тексте и формирующей его культуре, Зенкин не касается двух аспектов, на которые мы хотели бы обратить внимание. Во-первых, соавтором вторичной вымышленной реальности может оказаться критик или исследователь. Хотя критик традиционно претендует на объективную дистанцию по отношению к рецензируемому или исследуемому тексту, задаваемую самим жанром критической заметки, рецензии или научной монографии, в иных случаях он эту дистанцию нарушает. Эти нарушения были зафиксированы венгерскими исследователями, для которых фигура читателя-критика очень важна. Если воспользоваться тройственной формулой Петера Давидхази (отношение, ритуал, язык), то они заявляют о себе, прежде всего, на уровне отношения (сакрализация автора или книги) и языка (использование особым образом маркированной риторики) [13, с. 31]. Первый из предложенных ниже кейсов иллюстрирует именно такой случай альтернативной истории, возникающей на границах текста и его критической рецепции. Во-вторых, граница между текстом и культом может сместиться внутрь самого текста — в тех случаях, когда культ как внетекстовый, социокультурный феномен начинает непосредственно участвовать в создании художественной реальности. Мы имеем в виду не только важный феномен сиквелов и приквелов, но и феномен интертекста, когда культовый текст становится предметом игры, цитирования, переписывания. Наш второй кейс иллюстрирует внутритекстовое, если угодно, бытование культовых практик. В обоих случаях мы можем говорить о том, как культура и литература участвуют в создании культа или в поддержании существующего культового статуса.

«Хижина дяди Тома» и Октябрьская революция

Роман Хэрриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852) загадочным образом оказался связан с событием, на первый взгляд не имеющим к нему никакого отношения, — Октябрьской революцией и с фигурой В.И. Ульянова-Ленина соответственно. Прежде чем обратиться к этому курьезному сближению в американской критике, необходимо сказать несколько слов о

самом романе и его раннем культе. «Хижина дяди Тома» — сентиментальный аболиционистский роман, опубликованный в США в середине XIX в. сперва как роман-фельетон в газете, затем как отдельное издание, представляет собой пример произведения, которое обрело беспрецедентную в американской литературе популярность сразу же после выхода в свет. Произведение Бичер-Стоу справедливо называют романом-бестселлером. Более того, если следовать модели Давидхази, роман почти сразу получил псевдосакральный статус, став объектом не только обожествления, но и демонизации: противники Бичер-Стоу прямо обвиняли ее в развязывании братоубийственной войны между Севером и Югом, говоря о «Хижине дяди Тома» как о ядовитой или отравленной книге (*poisonous book*)². В поддержании сакрального статуса своей книги участвовала и сама Бичер-Стоу, в частности, утверждая, что роман был продиктован Богом. Уже при жизни автора книга стала объектом многочисленных подражаний, в том числе полемических: сторонники рабства писали так называемые *anti-Tom novels*, рисуя пасторально-идиллические картины отношений хозяев и рабов. Самый известный сиквел к роману — «Беглецы» (“*The Refugees*”) Энни Джефферсон Холланд — был написан уже в конце XIX в., в 1892 г., когда ажиотаж вокруг «Хижин дяди Тома» давно остался в прошлом, но роман удерживал популярность не в последнюю очередь благодаря множеству театральных адаптаций.

Мы хотели бы привести менее очевидный пример, который, на наш взгляд, иллюстрирует перформативную функцию текста, концептуализированную С.Н. Зенкиным, и свидетельствует о культовом статусе романа. В 1853 г. Бичер-Стоу подала в суд на переводчика, который выпустил неавторизованный перевод романа на немецкий. Судья Роберт Купер Грийер принял решение в пользу переводчика, пояснив свое решение весьма лестным для автора образом:

После публикации книги миссис Стоу, плоды авторского гения и воображения стали такой же общественной собственностью (*public property*), как и создания Гомера и Сервантеса. Дядя Том и Топси — это такие же *publici juris*, как Дон Кихот и Санчо Панса. Все ее замыслы и изобретения могут быть использованы (в оригинале: *used and abused*, т. е. использованы и ис-

2 См. об этом, например: [23, pp. 470–472].

пользованы злонамеренно. — Ж.К., А.У.) подражателями, драматургами и рифмоплетами. Они уже ей не принадлежат — те, кто купил ее книгу, могут наряжать их в английские вирши, рассказывать о них на немецком или китайском. Тем самым (т. е. публикацией книги. — Ж.К., А.У.) она добровольно отреклась от абсолютной власти над своими созданиями. Все, что ей остается, это копирайт (цит. по: [12, р. 118]).

Американский исследователь Стивен Бест, проводя параллели между сюжетной коллизией романа и судебным разбирательством, остроумно доказывает, что Том и Топси пытались сбежать от своей хозяйки, Хэрриет Бичер-Стоу, подобно беглым рабам [12, pp. 118–120]. Пассаж получает важное звучание и в контексте литературного культа. Судья фактически ставит Бичер-Стоу на один уровень с Гомером и Сервантесом — и это меньше чем через год после публикации романа! Персонажи романа, Том и Топси, сравниваются с бессмертными Дон Кихотом и Санчо Пансой. Но именно поэтому они больше не принадлежат своей создательнице — теперь у них независимая, самостоятельная жизнь. Они стали собственностью рифмоплетов (poetasters), которые могут делать с ними все, что им заблагорассудится.

Фактически перед нами явление вторичной фольклоризации, к тому же опосредованной письменным документом, имеющим легальный статус. Персонажи романа объявляются общей собственностью, подобно фольклорным или мифологическим героям; судебное решение, как известно, всегда выполняет перформативную функцию, воздействуя на реальную действительность. Однако мы имеем дело не с конкретными примерами обытовления культового текста, описанного Зенкиным (написание продолжений, подражание поведению или внешнему виду персонажа), а с определенными риторическими конструктами. Судья, который принимает решение по делу о вымысле, выступает в роли импровизированного критика, определяя место Бичер-Стоу в мировом каноне.

История рецепции романа в XX в. представляет собой иную траекторию: в США роман долгое время оставался в небрежении, будучи заклеянным в критике как посредственная сентиментальная или женская проза, однако на волне феминизма 1970-х гг. колесо фортуны повернулось: сегодня «Хижина дяди Тома» занимает одно из центральных мест в национальном каноне. Роман, как многие другие классические тексты XIX в., стал частью

критической индустрии. Предметом нашего интереса является книга авторитетного американского исследователя Дэвида Рейнольдса “*Mightier than the Sword...*” («Сильнее меча...»), вышедшая в 2012 г. [21]. Заметим, что Рейнольдс — один из критиков, участвовавших в реабилитации женской прозы середины XIX в. Книга «Сильнее меча...» посвящена проблеме рецепции романа, его жизни после публикации (*afterlife*), т. е. фактически это метакритическое исследование, которое, как большинство работ Рейнольдса, носит не только научный, но и популярный и отчасти популистский характер. Работа, исследующая в том числе культовые практики вокруг «Хижины дяди Тома», неожиданным образом сама участвует в производстве культового текста.

В главе, посвященной международной рецепции романа, Рейнольдс делает неожиданное заявление. Он отсылает читателя к анекдотическому эпизоду из истории финской эмиграции Ульянова-Ленина. Поздней осенью 1907 г. Ульянова нужно было переправить из Турку в Стокгольм, чтобы спасти от царской полиции, чем и занялись его союзники — группа финнов шведского происхождения Людвиг Линдстрем, Карл Фредриксон, Карл Крунберг, Карл Янссон и Юхан Шехольм. Согласно замыслу Ульянов должен был пройти по льду Ботнического залива до условленного места, где его ожидал пароход, направляющийся в Стокгольм. Этот замысел был осуществлен, причем с риском для жизни: на последнем переходе Ульянов провалился под лед и чуть не погиб. Рейнольдс прямо соотносит историческое свидетельство с эпизодом из романа Бичер-Стоу. Героиня романа, беглая рабыня Элиза, с ребенком на руках спасалась от охотников за чернокожими рабами; для этого ей, как и Ульянову-Ленину полвека спустя, нужно было пересечь водную границу — реку Огайо, которая отделяла рабовладельческий штат Кентукки от свободного Огайо.

Преследователи были совсем близко. Полная той силы, которая появляется у человека, доведенного до отчаяния, Элиза дико вскрикнула и в один прыжок перенеслась через мутную, бурлящую у берега воду на льдину. Такой прыжок можно было сделать только в припадке безумия, и, глядя на нее, Гейли, Сэм и Энди тоже невольно вскрикнули и взмахнули руками. Огромная зеленая льдина накренилась и затрещала, но Элиза не задержалась на ней. Громко вскрикивая, она бежала все дальше и дальше, прыгала через разводья,

скользила, спотыкалась, падала... Туфли свалились у нее с ног, чулки были разорваны, исцарапанные ступни оставляли кровавые следы на льду. Но она ничего не замечала, не чувствовала боли и очнулась лишь тогда, когда увидела перед собой смутно, словно во сне, противоположный берег и человека, протягивающего ей руку [2, р. 307].

Рейнольдс не первый критик, который заметил сходство между двумя событиями — вымышленным и настоящим. Так, он сам ссылается на историка, который назвал эпизод из жизни Ульянова “weird Lenin’s *Uncle Tom’s Cabin* night” («странная ленинская ночь “Хижина дяди Тома”») [21, р. 221]. Могли ли участники операции по спасению Ульянова-Ленина знать историю Элизы? Мы полагаем, что это маловероятно. Скорее всего, мы имеем дело со случаем, описанным в книге французского теоретика Пьера Байяра «Титаник утонет», где анализируются ситуации, когда литература самым неожиданным образом оказывается пророческой: рассказывает о событиях будущего, которые еще не произошли [1]. Иными словами, речь идет о знаменательной и занимательной случайности.

Что делает из этого совпадения Рейнольдс? Он включает его в собственный нарратив о рецепции романа после смерти его автора, задаваясь вопросом: могла ли «Хижина дяди Тома» спасти жизнь Ленина и тем самым сделать возможной революцию 1917 г.? Он отвечает скорее утвердительно, ссылаясь на популярность романа в России. Гипотеза кажется сомнительной хотя бы потому, что идея переправы по льду принадлежала не Ленину (роман хорошо знали и обсуждали в России, но читали ли «Хижину дяди Тома» в российской Финляндии?); никаких документальных оснований и свидетельств у Рейнольдса нет³. Однако последствия такого допущения трудно недооценить. Критик по сути возлагает на Бичер-Стоу ответственность не только за войну между Севером и Югом в США, но и за Октябрьскую революцию в России. Роман становится не просто значимым в национальном контексте — он фактически меняет ход мировой истории. «Сильнее меча...» — это часть известного крылатого выражения, принадлежащего Бульвер-Литтону: «Перо сильнее меча» (“The pen is mightier than the sword”). Таким образом, роману Бичер-Стоу приписывается функция

3 Показательно, что в авторитетном исследовании рецепции романа в России [19] ленинский анекдот никак не упоминается.

«меча», что помещает его не только за границы литературы и литературного, но и за пределы национальной истории. Роман, согласно расхожему мифу, оказавший влияние на войну между Севером и Югом, становится связующим звеном между Западом и Востоком. Защищающая угнетенных рабов Бичер-Стоу передает эстафету Ленину, представляющему интересы угнетенных рабочих в царской России.

Тем самым мы полагаем, что главы книги Рейнольдса, как и судебное решение судьи Гриера, относятся к корпусу текстов, участвующих в производстве культового текста «Хижина дяди Тома», непосредственно после его выхода и спустя полтора столетия, когда роман занял почетное место наравне с другими каноническими текстами американской литературной истории. В то же время критический жест Рейнольдса едва ли был бы возможен, если бы роман не наделяли перформативной функцией еще при жизни: чего стоит одно высказывание Абрахама Линкольна, который якобы назвал Бичер-Стоу «маленькой женщиной, развязавшей большую войну».

«...что, в свою очередь, привело к Первой мировой войне»
Милорад Павич. «Принц Фердинанд читает Пушкина»

Во второй части статьи мы продолжим разговор о том, как чтение культового текста трансформирует историческую реальность. Тогда как в нашем первом примере феномен культового чтения и механизм производства литературного культа был рассмотрен на примере критической литературы, где вопрос о соотношении вымысла и реальности ставится *извне*, в следующем примере эти же вопросы перемещаются *внутри* художественного текста, или, точнее, внутри рассказа, жанр которого можно было бы отнести к постмодернистской *alternative history*. Пояснение различия между двумя кейсами мы считаем принципиально важным: в первом случае речь шла о наделении текста перформативной функцией в рамках околотуртурного дискурса, во втором мы обнаруживаем игровое смешение нескольких пластов реальности. В вымышленном мире рассказа Милорада Павича «Принц Фердинанд читает Пушкина» друг на друга накладываются разные истории: рассказ о сне и чтении Фединанда, пушкинские сюжеты, биография Пушкина и история покушения 1914 г. Иными словами, мы обнаружи-

ваем и горизонтально, и вертикально связанные друг с другом нарративы. В нашем первом случае говорилось о влиянии (не столь важно, реальном или мнимом) текста на историческое событие; во втором ситуация осложнена тем, что в производстве культа в равной степени участвуют произведения и жизнь писателя как взаимосвязанные, интерпретирующие друг друга нарративы. Поэтому, прежде чем обратиться к рассказу, необходимо сказать несколько слов о культе и мифе Пушкина в Центральной Европе.

Знакомство с жизнью и творчеством Пушкина в Центральной Европе началось с немецких и французских переводов; позже он был переведен на национальные языки. Перевод на национальные языки способствовал спорадическому возникновению пушкинского культа в регионе. В частности, как было показано в критике, в основу биографического мифа о Пушкине лег трагический «сюжет» его биографии — гибель на дуэли. Начиная со второй половины XIX в. гибель поэта на дуэли — одна из центральных тем в литературе региона, своего рода манифестация «поэтической судьбы». В произведениях многих центральноевропейских писателей Пушкин становится иконическим образом, иллюстрирующим «конфликт между художником и властью», символом которого стали его последние дни. Например, это написанные в XX в. пьесы польского писателя Ярослава Ивашкевича и произведения венгерского автора Ласло Немета.

Особый интерес представляют художественные тексты, где пушкинский биографический миф интерпретируется через автобиографический статус его собственных персонажей. Например, романы «Зеленая книга» (1879) и «Красная карета» (1913) венгерских писателей Мора Йокаи и Дьюлы Круди, а также интересующий нас рассказ сербского писателя Милорада Павича «Принц Фердинанд читает Пушкина». Пушкинские произведения «переписываются» как типичные центральноевропейские истории; при этом судьбы Пушкина и его персонажей — Алеко, Онегина, Ленского, Евгения из «Медного всадника» — причудливым образом проецируются друг на друга (подробнее об этом см.: [15; 16]). Более того, в процесс фационализации вовлекаются значимые для Центральной Европы исторические события, будь то борьба за независимость Венгрии 1848–1849 гг. или убийство Франца Фердинанда в Сараеве в 1914 г. Процесс «переписывания» пушкинских текстов происходит на фоне иконических локусов Австро-Венгерской империи — Дуная, Будапешта, Вены, Сараева. Таким образом, при

помощи нарративных техник главный поэт русского национального канона оказывается *транскультурной* фигурой, связанной с иными географическими локусами, историческими эпохами, национальными языками и идентичностями. О том, как работает этот механизм, мы покажем на примере текста сербского автора, который сам стал культовой фигурой современной постмодернистской литературы, преодолев национальные и региональные границы.

«Берегись того, чье имя не можешь запомнить...» — так заканчивается рассказ «Яйца на сале» в сборнике Павича «Вывернутая перчатка» (“Izvrnuta rukavica”, 1989), за которым следует «Принц Фердинанд читает Пушкина» (“Princ Ferdinand čita Puškina”, 1982)⁴. Эта фраза могла бы стать эпиграфом к исследуемой нами новелле, где *называние* или *отсутствие такового* оказывается одним — если не важнейшим — из структурирующих ее элементов, когда повествование касается интерсубъективных связей. Персонажи новеллы — сперва безымянные, а затем названные по имени — каждый раз радикально изменяют судьбу главного героя (возвращаясь к императиву предостереженья: «Берегись!»). В центре повествования — не просто проблематизация обладания именем собственным или отсутствия такового, а вопрос *знания*: знает ли главный герой, как зовут его самого и прочих героев; а если да, то чем *произнесение имени, догадка, обретение знания* оборачивается в мире постмодернистского текста? Вдобавок ко всему текст играет с читателем: сможет ли он, пользуясь накопленным ранее культурным багажом, сам идентифицировать безымянных героев, и в какое контекстуальное, семантическое поле он включит произнесенные имена (см. Онегин, Гаврило). Эффект игры с языковым опережением здесь — своеобразный разлад между толкованиями, возникающими у главного героя и у читателя: у воспринимающего текст контекстуальный запас знаний шире, чем у главного героя рассказа (Франца Фердинанда). Читатель, вероятнее всего, соотнесет имя Гаврило с 1914 г. — в европейской исторической и культурной памяти годом убийства престолонаследника австро-венгерской монархии (Гаврило → Гаврило Принцип) — в противоположность главному герою, который, исходя из своего знания, ошибочно воспримет его как имя архангела (Гаврило

4 Рассказ Павича цит. по: [8].

→ архангел Гавриил); значение архангельского имени («мощь Бога») для него оно работает лишь как некое предзнаменование⁵.

Номинация в рассказе очерчивает три круга вопросов. Первый — это идентичность, *проблематика идентичности*. Речь, с одной стороны, идет о персональной, культурной и национальной идентичности главного героя, с другой — о его *самоидентификации, потере идентичности*, в конечном счете *опыте отчуждения*, как это явлено в поэтике текста. «Как соотносятся между собой *имя и идентичность?*» — вопрошает (постмодернистский) текст. Второй круг вопросов — это связь имени собственного и индексируемых им литературных, исторических, историко-архитектурных и пр. текстовых корпусов. Стóбит лишь новому имени собственному попасть в поле интерпретации, как оно синекдохически «тащит за собой» литературные и исторические коннотации; ведь каждое имя в этом тексте принадлежит знаковым фигурам европейской культуры: книжным героям, историческим персонажам, людям с прошлым (Ольга, Онегин, Гаврило, Софья, принц Фердинанд). И, наконец, третий круг вопросов, к которому в (прозаическом) тексте ведет нас семиозис имени собственного, связан с *мифологическим и секулярным типами мышления*, сознания, видения, с соприсутствием совмещенного и смешанного характера функционирования культуры⁶. Франц Фердинанд читает разные тексты, преимущественно пушкинские. Чтение при этом неотделимо от толкования: главный герой излагает прочитанные произведения одно за другим, помещая себя в них в качестве рассказчика от первого лица, сам превращаясь в их персонажа. Тексты становятся тождественными миру, окружающему Фердинанда, однако сам престолонаследник не способен провести границу между «реальностью» и «вымыслом»; процедуру распознавания выполняет «за него» читатель.

Итак, в ходе чтения-толкования Фердинанд «вписывает» себя во всевозможные сюжеты, конструируя посредством этих сюжетов собственную идентичность; все это осуществляется в рассказе с помощью поэтики и нарративов сновидения. Восприятие мира как книги — с отождествлением в процессе чтения — свойственно мифологическому сознанию; это отождествление названия и называемого, в свою очередь, определяет «представление о неконвенциональном характере собственных имен, об их онтоло-

5 Об имени Фердинанд и связанных с ним (обще)культурных реалиях см.: [18].

6 О проблеме номинации см.: [14, p. 98].

гической сущности» [5]. Вопрос имени как знака становится предметом повествовательной рефлексии, а обретение нового имени происходит в результате случайного *стечения обстоятельств*.

Кто такой Фердинанд, кто такой Пушкин и кто тут Гаврило, а кто Онегин? Кто скрывается за этими именами? Как Фердинанд становится Фердинандом? Как он получает это имя? Что произойдет, если один из выдающихся персонажей европейского исторического нарратива, убитый в 1914 г. престолонаследник, накануне рокового для него сараевского покушения прочитает роман в стихах родоначальника русского литературного мифа, застреленного на дуэли русского поэта? И наоборот: что случится с Пушкиным и его образом, со всей совокупностью первичных и вторичных текстов, если погрузить их в культурную, историческую и политическую иноязыковую среду рубежа XIX и XX вв.?

Милорада Павича — филолога, писателя и переводчика — всю жизнь интересовали пушкинское наследие и биография⁷. С одной стороны, он углубленно занимался Пушкиным в качестве автора пушкинистских работ, редактора сербских изданий Пушкина, переводчика множества пушкинских произведений, в том числе «Полтавы» и «Евгения Онегина»; с другой стороны, как писатель, не раз обращался к «пушкинской теме», во многих его рассказах и романах фигурируют и Пушкин-персонаж, и пушкинские произведения⁸. Особенно привлекали Павича те элементы наследия и биографии русского поэта, которые так или иначе были связаны с сюжетами и мотивами, стиховыми размерами сербской народной поэзии или сербскими историческими персонажами. Рассказ «Принц Фердинанд читает Пушкина» строится на узнаваемых аллюзиях к «Евгению Онегину», «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Медному всаднику», одновременно демонстрируя сходство и различие, закономерную и случайную связь между гибелью поэта, убитого на дуэли, и смертью престолонаследника, павшего жертвой покушения.

Первая часть текста у Павича — декларативный парафраз пушкинского «Евгения Онегина», разумеется, при существенных расхождениях. Эти расхождения не сводимы к новым *историческим, историко-культур-*

7 Об историко-литературной и писательской «двойственности» Павича см.: [22; 11].

8 На венгерский язык переведен лишь один рассказ Павича, который сербская и русская история литературы относят к пушкинской теме [20]. Подробно об интересе Павича к Пушкину см., например: [3; 6; 9].

ным и географическим декорациям, хотя таковые имеют место быть в тексте Павича. Как становится очевидно из сопоставления вымышленных миров (у Пушкина — кони, мазурка, поместье в русской глуши; у Павича — мотоциклы, вальс «Голубой Дунай», имение в центральной европейской провинции), действие рассказа разворачивается в более поздний период и в иных географических пространствах, нежели роман в стихах. И хотя главный герой у Павича рассказывает свою историю от имени Ленского (и может быть назван — хотя и не называется — Ленским), он *одновременно* располагает знаниями онегинского рассказчика и Татьяны. Жизненные обстоятельства у героя от Ленского, хотя по характеру (прохладность и дистанция в общении) он ближе к скучающему Онегину. Утрированное изображение Онегина (см. издевательский эпитет: «ресницы, цеплявшиеся за брови») и явный перекосяк в передаче обстоятельств дуэли (охотничье ружье вместо пистолета) указывают на то, что мы имеем дело с шаблоном (франт Онегин, дуэль как убийство), грубо упрощенным, намеренно милитаристским прочтением пушкинского романа. Самый важный момент здесь — дуэль, выстрел, *попадание в цель*, именно тогда и происходит *идентификация другого* (Евгений Онегин) и ее осознание, и возможность окончательно определиться, кто на чьей стороне (Ленский vs Онегин). В то же время само это событие происходит в пограничной ситуации, в момент перехода из жизни в смерть или, иначе, перехода из «Онегина» в другой текст. Это момент произнесения имени Онегина и одновременного распознавания онегинского текста как мира, ничего уже больше для главного героя не значащего.

Во второй части рассказа сраженный выстрелом и влекомый течением рассказчик попадает в текстовое пространство, все явственней насыщающееся элементами (народной) сказки. Неуправляемая стихия несет беспомощного героя из реки в реку. Вода может быть интерпретирована, с одной стороны, как *живая вода*, поскольку дарит возвращающемуся к жизни герою *перевоспложение* и *воскресение*, с другой стороны, как существование вне истории (ср.: [7]). Чтобы утолить голод, герой пытается поймать рыбу; от голода и невозможности выспаться его разум помрачен: и думать нет сил, и быстрое течение тащит за собою все, в том числе его мысли. Наконец он вылавливает крошечную рыбку и тут же швыряет ее обратно. Рыбка не уплывает, и тогда он по-немецки спрашивает, как ее зовут. Рыбка отвечает, тоже по-немецки, что ее зовут Гаврило, как архангела Гавриила, и

предлагает рассказчику исполнить три его желания. Рассказчик — в стилизованных оборотах народной сказки — желает дом, жену и саму рыбку, но чтобы пожирней и жареной, на тарелке.

Текст Павича во второй части отсылает к «Медному всаднику» — образу разъяренной, рвущейся к морю Невы и все и всех потерявшего, обезумевшего Евгения, но тут же втягивает в свой «омут» и старика с его ветхой землянкой из «Сказки о рыбаке и рыбке». Неожиданно одномоментное привлечение сразу двух пушкинских текстов. Оба можно прочесть как две вариации одной и той же темы (Пушкин и писал оба текста осенью 1833 г. в Болдино), как две несхожие попытки обуздания чуждой стихии. Согласно анализу Михаила Эпштейна, и Петр Великий в «Медном всаднике», и жена рыбака в сказке достигают одного и того же: вся земная власть принадлежит им. И когда земной их власти некуда больше расти, заключает Эпштейн, оба замахваются на морскую стихию [10]. Петр ценой невероятных потерь строит на отвоеванной у моря болотистой местности город, заключая протекающие через него воды в гранит. Старуха хочет стать владычицей морскою и повелевать золотой рыбкой. У обоих сюжетов кольцевая структура: оба как начинаются на берегу моря, так там и заканчиваются. Более того, сказка возвращается к своему началу — ветхой землянке и разбитому корыту. Вытребованные у рыбки дома и дворцы, каждый роскошнее предыдущего, и дивный царский город развеиваются как сон.

В рассказе Павича герой просит у рыбки три вещи сразу, затем сплевывает по-солдатски и засыпает. И тогда, т. е. *vo sne*, вновь происходит утрата идентичности и во второй раз случается чудо, пробуждение в новом облики, причем на этот раз меняется жанровый регистр повествования. За «сказком» следует географическая и архитектурная справка. Главный герой дотошно, оперируя точными данными и названиями, описывает замок и парк, владельцем которых он пробудился к жизни. (Ирония Павича: на самом деле Франц Фердинанд мог жить разве что в Бельведере, а тут, судя по описанию, ему принадлежит помпезнейший из императорских замков — Шенбруннский. Вот уж воистину император!)

Сообщив рыбке третий приказ/пожелание, главный герой совершает ту же оплошность, что и Петр Великий, и старый рыбак или, точнее, его старуха жена: он покушается на власть над своим благодетелем. У Павича главный герой своего благодетеля попросту съедает. Иными словами, Франц

Фердинанд съедает свою удачу — Гаврилу. Присваивает, поглощает, обращая, теперь уже бесповоротно, в часть собственной истории — еще до того, как имя Гаврилы Принципа роковым и необратимым образом свяжет с ним мировая история. В свете дальнейших событий Гаврило — в облики Гаврилы Принципа — отомстит ему за это. И подобно тому, как выстрел Онегина выдвинул в центр повествования второстепенного персонажа Ленского, так и Франц Фердинанд делает знаменитым Гаврилу, как, впрочем, и наоборот: собственной мировой славой Франц Фердинанд (судя по биографиям, из-за отца всю жизнь чувствовавший себя обойденным) обязан выстрелу Гаврилы.

Структура трехчастного рассказа «Принц Фердинанд читает Пушкина» строится не только на явленных и «прожитых» последовательно друг за другом сюжетах и жанрах (роман в стихах, сказка, историческая справка), но и на трехкратной трансформации главного героя, у которого при этом каждый раз появляется антагонист:

- герой-рассказчик (в роли Ленского) — сосед (Онегин);
- герой-рассказчик (в роли старика рыбака и Евгения) — рыбка (Гаврило);
- Фердинанд — убийца (Гаврило Принцип).

Текст до самого конца сохраняет повествовательную связность. Относительную когерентность сообщают ему и время от времени вклинивающиеся по ходу немецкие ремарки рассказчика: “eines schönen Tages”, “kurz und gut” и пр. — и всякий раз так или иначе повторяющийся момент проблематизации имени собственного при попадании главного героя в очередной пушкинский сюжет. Рассказчик и читатель Франц Фердинанд многократно меняют облик и имя, при том что характер нарратива и поэтики текста сохраняются. Важно, что вплоть до самого конца рассказа у героя-рассказчика собственно нет никакого имени — это мы, читатели, сами вовемя отождествляем его сперва с *Ленским*, а затем, во второй части, со *старым рыбаком* и *Евгением*, героем «Медного всадника». И, наконец, подлинное историческое событие опять воссоздает ту же интерсубъективную структуру: в момент выстрела Фердинанд не знает — или, вероятнее всего, не знает, — что его противника зовут Гаврило Принцип.

Путь, вернее, «судьба» главного героя свершается сначала в притоках (*периферия*), а затем в русле самого Дуная (*центр*), ведь вода, река, Дунай связывают между собой нарративные части и сюжетные пространства текста и

во времени, и в пространстве: сраженный выстрелом герой-рассказчик падает в какую-то пересекающую поместье соседа речушку, которая доносит его до болотистых придунайских мест, где он и пытается ловить рыбу. В мире Павича поместья Онегина и Ленского, землянка старого рыбака и Шенбруннский замок расположены в придунайских краях. Дунай при этом выступает и как связующая метафора: Онегин танцует с Ольгой под музыку «Голубого Дуная».

Отметим, что текст Павича «обращается» с пушкинским культом и мифом особым образом. Как будто этот миф был изначальной причиной, точкой отсчета «первоистории» всех — исторических и языковых — европейских событий, оставаясь при этом чуждым им, плохо вписывающимся в центральноевропейское языковое и культурное пространство. Анализируя альтернативную историю павичевского текста, мы видим, что мир строящегося на пушкинских произведениях рассказа, одновременно обнаруживает признаки *связности, гомогенности, и разорванности, гетерогенности*. За отождествлением, обретением идентичности с неизбежностью следует утрата «я», трансформации героев неизменно сопутствует трансгрессия текстовых и пространственных границ (провинциальное поместье, болотистый берег, Вена, Сараево), и дело тут не просто в свойственной постмодернистскому тексту фрагментарности, мозаичности, а в том, что в сюжете трижды повторяется *история изгнания*. Знаменитое «Пушкин наше все» у Павича превращается в альтернативное «Пушкин все, но не наше». Соединение пушкинского мифа и истории Фердинанда в одном сербском рассказе органично и закономерно, и одновременно неорганично и случайно. Главный герой неизменно оказывается вытолкнутым из пушкинского сюжета, при том что в сербском рассказе два события, соотносящиеся с двумя фокусами культурной и политической власти на востоке и на западе (Российской империей и Австро-Венгерской монархией), — гибель Пушкина и гибель Франца Фердинанда — проецируются друг на друга. Заговоривший по-сербски, перемещенный в центральноевропейское пространство, в контекст центральноевропейских героев и конфликтов, Пушкин выглядит здесь явным чужаком. Для самого Павича — серба, человека славянской языковой культуры, православного и ко всему прочему еще и переводчика Пушкина — ощущение *собственной чужести* активизируется вдвойне. Рассказ Павича в литературной пушкинистике XX в. — явление уникальное, звучащее одновременно изнутри и за пределами пушкинского культа и мифа.

В обоих рассмотренных нами сюжетах случай и закономерность не-отделимы друг от друга. Сближаются структурно схожие вымышленные и исторические события — бегство от преследователей по льдинам, гибель от выстрела, — вовлекая литературу в создание альтернативной, виртуальной истории. В случае с «Хужиной дяди Тома» эта история претендует на сенсационную достоверность, хотя и остается на уровне маргинального околослитературного мифа, который историки едва ли станут воспринимать всерьез. В рассказе Павича причудливое соединение русской литературы и австро-венгерской истории оправдано поэтикой постмодернистского текста, но в то же время апеллирует к глубинным механизмам бытования пушкинского культа в центральноевропейском культурном пространстве. Проецирование вымысла и реальности друг на друга становится возможным благодаря культовым текстам, сюжетам и именам — и одновременно оказывается важной техникой поддержания уже существующих литературных культов, вовлекая их в стихию вторичной фольклоризации.

Список литературы

- 1 *Байяр П.* Титаник утонет. М.: Текст, 2017. 192 с.
- 2 *Бичер-Стоу Х.* Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных / пер. Н.А. Волжиной. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 784 с.
- 3 *Вагнер Е.* Национальные культурные мифы в литературе русского постмодернизма: дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2007. 231 с.
- 4 *Зенкин С.Н.* От текста к культу // Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель / под ред. М.Ф. Надъярных, А.П. Ураковой. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 133–140.
- 5 *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Миф — имя — культура // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: в 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1: Статьи по семиотике и топологии культуры. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/mif_im.php (дата обращения: 16.09.2019).
- 6 *Мусий В. А. С.* Пушкин — персонаж «Уникального романа» М. Павича // Болдинские чтения, 2011: материалы конференции. Саранск: Гос. лит.-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», 2011. С. 230–239.
- 7 *Немзер А.* Поэзия Жуковского в шестой-седьмой главах романа «Евгений Онегин» // Пушкинские чтения в Тарту 2. Материалы международной научной конференции. Тарту, 2000. С. 43–64.

- 8 *Павич М.* Принц Фердинанд читает Пушкина // *Павич М.* Вывернутая перчатка (1989) / пер. Л. Савельевой. М., 2003. URL: <http://knigger.com/texts.php?bid=22940&page=45> (дата обращения: 20.09.2014).
- 9 *Попович Т. А. С.* Пушкин – сокровенный герой прозы М. Павича // Болдинские чтения / отв. ред. Н.М. Фортунатов. Нижний Новгород, 2014. С. 62–71.
- 10 *Энштейн М.* Медный всадник и золотая рыбка. Поэма-сказка Пушкина // Знамя. 1996. № 6. С. 204–215.
- 11 *Bagi I.* Megjegyzések egy szöszedethez (Milorad Pavić: Kazár szótár) // *Bagi I.* Rög-Eszmék. Írások a XX. századi szláv irodalmak köréből. Szeged, 2010. P. 216–223.
- 12 *Best S.M.* The Fugitive's Properties: Law and the Poetics of Possession. Chicago: University of Chicago Press, 2004. 536 p.
- 13 *Dávidházi P.* Cult and Criticism: Ritual in the European Reception of Shakespeare // Literature and its Cults. An Anthropological Approach / Ed. by Dávidházi P., Karafiáth J. Budapest: Argumentum, 1994. P. 29–47, 31.
- 14 *Hetényi Zs.* Nomen est ponem? Name and Identity in Russian Jewish Emigré Prose on and in Berlin of 1920s // Transit und Transformation: Osteuropäisch-jüdische Migranten in Berlin 1918–1939 / Hrsg. von V. Dohrn, G. Pickhan. Charlottengrad und Scheunenviertel, Bd. 1. Göttingen: Wallstein Verlag, 2010. P. 95–113.
- 15 *Kalavszky Zs.* "Le mariage de Pouchkine" Jókai lehetséges nyugat-európai forrásai és A. Sz. Puskin alakja a Szabadság a hó alatt, avagy a "Zöld könyv" című regényben" // *Mester Jókai": A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón* ["Master Jókai": Possible Readings of Jókai at the Turn of the Century"] / szerk. Hansági Á., sáHermann Z. Budapest: Ráció Kiadó, 2005. P. 32–64.
- 16 *Kalavszky Zs.* The Pushkin Myth and Cult in Central European Literature: Gyula Krúdy's A vörös postakocsi ["The Crimson Coach"] (1913) // Hungarian Cultural Studies: E-Journal of the American Hungarian Educators Association. 2017. Vol. 10. P. 120–132.
- 17 *Kalavszky Zs., Uraкова A.* Literary Cult and Its Discontents: Russian-Hungarian Perspective // Вестник славянских культур. 2019. Т. 53. С. 169–180.
- 18 *Karpanyos A.* Nekünk Ferdinánd // Cseh ködképek fürkészője, Huszonegy írás Berkes Tamás 60. születésnapjára / szerk. Balogh M., Kalavszky Zs. Budapest, Reciti, 2014. P. 40–48.
- 19 *MacKay J.* True Songs of Freedom: "Uncle Tom's Cabin" in Russian Culture and Society. Madison: University of Wisconsin Press, 2013. 157 p.
- 20 *Pavić M. Sár* // *Pavić M.* A tüsszögő ikon / ford. B.E. Bojtár, O. Gállos. Újvidék – Pécs, 1993. P. 79–97.
- 21 *Reynolds D.S.* Mightier than the Sword: *Uncle Tom's Cabin* and the Battle for America. New York: Norton and Co., 2011. 376 p.
- 22 *Szabó Sz.* A másság-mozzanatok mentén elmozduló Pavić-olvasás. Híd 2010. 1. P. 65–90.

- 23 Urakova A. "I do not want her, I am sure": Gifts, Commodities, and Poisonous Gifts in Uncle Tom's *Cabin* // *Nineteenth-Century Literature*. 2020. Vol. 74, № 4. P. 448–472.

References

- 1 Baiiir P. *Titanik utonet* [Titanic will sink]. Moscow, Tekst Publ., 2017. 192 p. (In Russ.)
- 2 Bicher-Stou Kh. *Khizhina diadi Toma, ili Zhizn' sredi unizhennykh* [Uncle Tom's Cabin, or the Life among the lowly], transl. by N.A. Volzhina. Moscow, Izdatel'stvo Sretenskogo monastyrja Publ., 2010. 784 p. (In Russ.)
- 3 Vagner E. *Natsional'nye kul'turnye mify v literature russkogo postmodernizma: dis. ... kand. filol. nauk* [National cultural myths in the literature of Russian postmodernism: PhD Dissertation]. Barnaul, 2007. 213 p. (In Russ.)
- 4 Zenkin S.N. Ot teksta k kul'tu [From text to cult]. In: *Kul't kak fenomen literaturnogo protsessa: avtor, tekst, chitateľ* [Cult as a phenomenon of the literary process: author, text, reader], ed. by M.F. Nadyarnych, A.P. Urakova. Moscow, IWL RAS Publ., 2011, pp. 133–140. (In Russ.)
- 5 Lotman Iu.M., Uspenskii B.A. Mif — imia — kul'tura [Myth — name — culture]. In: Lotman Iu.M. *Izbrannye stat'i: v 3 t.* [Selected essays: in 3 vols.] Tallin, Aleksandra Publ., 1992. Vol. 1: Stat'i po semiotike i topologii kul'tury. Available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/mif_im.php (Accessed 16 September 2019). (In Russ.)
- 6 Musii V. A.S. Pushkin — personazh "Unikal'nogo romana" M. Pavicha [Pushkin as a character of Pavič's *Unique Item*]. In: *Boldinskie chteniia, 2011, Materialy konferentsii* [Boldino conference 2011, proceedings]. Saransk, Gos. lit.-memorial'nyi i prirodnyi muzei-zapovednik A.S. Pushkina "Boldino" Publ., 2011, pp. 230–239. (In Russ.)
- 7 Nemzer A. Poeziia Zhukovskogo v shestoi-sed'moi glavakh romana "Evgenii Onegin" [Zhukovsky's poetry in the sixth and seventh chapters of "Eugene Onegin"]. In: *Pushkinskie chteniia v Tartu 2. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* [Pushkin conference in Tartu 2, proceedings]. Tartu, 2000, pp. 43–64. (In Russ.)
- 8 Pavich M. Prints Ferdinand chitaet Pushkina [Prince Ferdinand is reading Pushkin]. In: Pavič M. *Vyvernutaia perchatka (1989)* [Glove turned inside out], transl. by L. Savel'eva. Moscow, 2003. Available at: <http://knigger.com/texts.php?bid=22940&page=45> (Accessed 20 September 2014). (In Russ.)
- 9 Popovich T. A.S. Pushkin — sokrovennyi eroi prozy M. Pavicha [Pushkin as an intimate character in the fiction of Pavič]. In: *Boldinskie chteniia* [Boldino conference proceedings], ed. by N.M. Fortunatov. Nizhnii Novgorod, 2014, pp. 62–71. (In Russ.)
- 10 Epshtein M. Mednyi vsadnik i zolotaia rybka. Poema-skazka Pushkina [The Bronze horseman and the gold fish. Pushkin's poem-tale]. *Znamia*, 1996, no 6, pp. 204–215. (In Russ.)

- 11 Bagi I. Megjegyzések egy szöszedethez (Milorad Pavić: Kazár szótár) [Notes on a lexicon] (Milorad Pavić: Dictionary of the Khazars). In: Bagi I. *Rög-Eszmék. Írások a XX. századi szláv irodalmak köréből* (Mono-mania. Essays on twentieth-century Slavic literatures). Szeged, 2010. 216–223. (In Hungarian)
- 12 Best S.M. *The Fugitive's Properties: Law and the Poetics of Possession*. Chicago, University of Chicago Press, 2004. 536 p. (In English)
- 13 Dávidházi P. Cult and Criticism: Ritual in the European Reception of Shakespeare. In: *Literature and its Cults. An Anthropological Approach*, ed. by P. Dávidházi, J. Karafiáth. Budapest, Argumentum, 1994, pp. 29–47, 31. (In English)
- 14 Hetényi Zs. Nomen est ponem? Name and Identity in Russian Jewish Emigré Prose on and in Berlin of 1920s. In: *Transit und Transformation: Osteuropäisch-jüdische Migranten in Berlin 1918–1939*, ed. by V. Dohrn, G. Pickhan. Charlottengrad und Scheunenviertel, Bd. 1. Göttingen, Wallstein Verlag, 2010, pp. 95–113. (In English)
- 15 Kalavszky Zs. „Le mariage de Pouchkine” Jókai lehetséges nyugat-európai forrásai és A. Sz. Puskin alakja a *Szabadság a hó alatt, avagy a „Zöld könyv”* című regényben [“Le mariage de Pouchkine” Jókai's Possible Western European Sources and A.S. Pushkin's Figure in the Novel *Freedom under the Snow or the Green Book*]. *Mester Jókai: A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón* [“Master Jókai”: Possible Readings of Jókai at the Turn of the Century], szerk. Hansági Á., Hermann Z. Budapest Ráció Kiadó, 2005, 32–64. (In Hungarian)
- 16 Kalavszky Zs. The Pushkin Myth and Cult in Central European Literature: Gyula Krúdy's A vörös postakocsi [‘The Crimson Coach’] (1913). *Hungarian Cultural Studies: E-Journal of the American Hungarian Educators Association*. 2017, vol. 10, pp. 120–132. <https://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/295/565> (In English)
- 17 Kalavszky Zs., Urakova A. Literary Cult and Its Discontents: Russian-Hungarian Perspective. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2019, vol. 53, pp. 169–180. (In English)
- 18 Kappanyos A. Nekünk Ferdinánd. [‘Ferdinand for us’]. *Cseh ködképek fürkészője, Huszonegy írás Berkes Tamás 60. születésnapjára* [‘Scout of Czech phantoms, Twenty-one pieces on the 60th birthday of Tamás Berkes.’], szerk. Balogh M., Kalavszky Zs., Budapest, Reciti, 2014. 40–48. (In Hungarian)
- 19 MacKay J. *True Songs of Freedom: “Uncle Tom’s Cabin” in Russian Culture and Society*. Madison, University of Wisconsin Press, 2013. 157 p. (In English)
- 20 Pavić M. Sár. In: Pavić M. *A tüszögő ikon* [‘The sneezing icon’], ford. Bojtár B.E., Gállos O. Újvidék – Pécs, 1993. 79–97. (In Hungarian)
- 21 Reynolds D.S. *Mightier than the Sword: “Uncle Tom’s Cabin” and the Battle for America*. New York, Norton and Co., 2011. 376 p. (In English)
- 22 Szabó Sz. A másság-mozzanatok mentén elmozduló Pavić-olvasás. *Híd* 2010. 1. 65–90. (In Hungarian)
- 23 Urakova A. “I do not want her, I am sure”: Gifts, Commodities, and Poisonous Gifts in “Uncle Tom’s Cabin”. *Nineteenth-Century Literature*, 2020, vol. 74, no 4, pp. 448–472. (In English)